**Всероссийская олимпиада школьников**

**2024–2025 учебный год**

**Школьный этап**

**Литература**

**9 класс**

**Дорогие участники олимпиады!**

Предлагаем вам выполнить задания, которые помогут определить уровень вашей литературной эрудиции, культурный кругозор и умение выражать собственное мнение.

**Максимальный общий балл – 40**

На выполнение работы отводится 90 минут.

**ЦЕЛОСТНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА**. Выберите для аналитической работы ИЛИ прозаический, ИЛИ стихотворный текст. Пишите связно, свободно, понятно, доказательно и грамотно. Рекомендуемый объём – 300–400 слов. Работа объёмом менее 75 слов будет оцениваться нулём баллов. Перед ответом на задание укажите НОМЕР варианта текста, который анализируете.

**Задание 1.** Напишите целостный анализ рассказа А. Ершова «Рассказы в начале четверти. Рассказ сельского учителя». Вы можете опираться на вопросы или выбрать собственный путь анализа. Работа должна представлять собой связный, завершённый текст.

Опорные вопросы:

1. Чем отличается «городской» и «негородской» взгляд на мир?

2. Как открылся иначе герою директор школы?

3. Какие проблемы поставлены в рассказе?

Случилось это в самом начале четверти. Буквально вчера я вернулся из города, куда ездил на время каникул, а сегодня рано поутру уже спешил привычной дорогой на работу. Весна в тот год выдалась теплая и сухая, дождей совсем немного. Над рекой и вдали, за полем, расстилался густой утренний туман. Я шел и думал о чем-то, что казалось важным в тот день – может быть, о впечатлениях от поездки, – или, напротив, строил планы на будущее, пытаясь следить за тропинкой, чтобы не промочить ноги в высокой росистой траве, росшей у реки.

Высоко в небе – безоблачном, чистом – летели птицы, и я вдруг подумал, что за все время пребывания в городе, быть может, ни разу не взглянул на небо. Мне захотелось остановиться, прямо сейчас, здесь, но беглый взгляд на часы – и я быстрей зашагал по тропинке, пытаясь мысленно вернуться на пару–тройку дней назад и припомнить городское небо, которое выветрилось из памяти или вовсе не попадало в нее; было сложно ответить точно, видел я его или нет за все время поездки. Нужно было спешить. Наконец я выскочил на песчаную дорогу и замедлил шаг: ноги увязали в песке.

Погруженный в раздумья, я неожиданно вспомнил о намечавшемся «окне» вместо третьего урока и, к удивлению своему, быстро и так же внезапно решил в это время уйти из школы и побродить у реки, посмотреть на огромное небо, поистине безмерное, ограниченное разве что горизонтом… Эта мысль придала бодрости, и я зашагал быстрее, почти вприпрыжку, тем паче что до школы оставалось каких-то пара минут. Из соседних дворов наперерез мне неслись мальчишки, спешившие в школу. Они что-то обсуждали на бегу, оживленно и громко, но вместе с тем как–то невпопад, отчего разобрать слова было невозможно. Несмотря на это, сами участники дискуссии, по-видимому, прекрасно понимали друг друга, потому что беседа не только не прекращалась, но, судя по интонации, лишь набирала обороты.

Еще на подходе к школе, издалека, я разглядел стоявшего на крыльце директора и насторожился: в самом деле, его нечасто можно встретить за пределами кабинета, – теперь же он как–то странно ежился и глядел по сторонам, попутно отвечая на приветствия детей, явно отвлекавших его от какого–то важного дела. Увидев меня, он махнул рукой.

– Ильин! – глухо выкрикнул он, так, как если бы окликал меня со спины. – Егор Евгеньич!

Я махнул в ответ, в знак того, что услышал призыв, и немного ускорил шаг. Стремительно вспорхнув на крыльцо, поравнялся с директором и пожал его руку.

– Здравствуйте, Петр Степанович. Петр Степанович Рыжов, как вы уже поняли, директор нашей школы. Ему под пятьдесят, он одинок, лицо несколько обрюзгло от времени.

– Хорошо, что ты здесь, – на директоре был мятый серый пиджак, да и весь он выглядел помято. – Пойдем-ка ко мне. Мы прошли по длинному коридору, маневрируя между детьми, отвечая на сыпавшиеся со всех сторон приветствия, и остановились у его кабинета. Петр Степанович пропустил меня вперед и медленно прикрыл за собой скрипучую дверь.

– Садись, – он указал рукой на стул, а сам прошел вглубь, открыл дверцу шкафа и зашелестел какими-то бумагами. – Ты же в город ездил? Он достал две фаянсовые чашки и поставил на стол.

– Да, – ответил я, взглядом призывая директора задать более конкретный вопрос.

– Ну и как там в городе? – Он сел и вытащил из ящика термос. – Собор-то достроили?

– Реставрируют, – ответил я. – Леса еще стоят.

– Ну да, ну да, – вздохнул Петр Степанович, откручивая крышку термоса. – Чай горячий… с лимоном. Будешь? Я внимательно вгляделся в его лицо: обвисшую кожу на землистого цвета щеках, мешки под глазами.

– Нет, пожалуй, не буду, – отказался я. Наши взгляды встретились.

– Что-то случилось, Петр Степанович? Он поставил термос на стол и встал. – Да, – голос его звучал свободно, раскованно, – Кирилл не вышел на работу. У шестого «а», стало быть, математики не будет. Я тут посмотрел, – он машинально, не глядя, пошелестел бумагами на столе, – у тебя же «окно» третьим уроком, да? Я кивнул. – Ну, вот ты и возьмешь шестой на третьем уроке. Ладно?

– Ладно, – ответил я, но не встал с места, чувствуя, что разговор не закончен. – Мать у него умерла, – Петр Степанович налил в чашку чай и выпил большими, звучными глотками. Стукнул чашкой о стол и продолжил, переведя дыхание. – Третьего дня… Вот отпросился. Завтра хоронят, так что… Он замолчал, не докончив фразы, словно не знал, что должно следовать после этого «так что». Я тоже не знал. Минута прошла в молчании, затем он снова налил себе чаю и обратился ко мне:

– У тебя ж день рождения был на каникулах, нет? Этот вопрос прозвучал как-то невпопад, в гнетущей тишине, после известия о смерти, что я не сразу нашелся, что ответить. Петр Степанович стукнул по столу пустой чашкой.

– Да, – сказал я. В горле у меня пересохло, и я наконец попросил чаю, чем, кажется, несказанно обрадовал собеседника.

– Сколько стукнуло-то? – с какой–то беззаботной интонацией поинтересовался он, разливая по чашкам остатки чая.

– Двадцать пять.

– Четверть века, – зачем-то констатировал Петр Степанович со значительным видом.

Мы допили чай, который показался мне безвкусным, не утоляющим жажду, а только обжигающим горло, и я заторопился на урок. Пока плелся в класс по длинному коридору, пытался сообразить, что дать детям на внезапно образовавшемся третьем уроке, но мысли путались и ускользали. Утреннее настроение испарилось, хотелось думать не о бескрайнем небе, а о чем-то злом и черном, а может быть, и вовсе ни о чем. Шестиклассникам (их было двенадцать) сказал, что вместо математики будет русский язык, и когда один из них спросил: «Почему?» – я не сразу нашелся с ответом, в замешательстве объяснив, что Кирилл Валерьевич заболел и в ближайшие дни математики не будет. Дети радостно и взволнованно загалдели, но я прервал их, сам не до конца понимая, почему не сказал им правду… …Странное, тяжелое настроение овладело мною, и когда подошло время третьего урока, я не смог придумать ничего лучше сочинения на тему, кто как провел каникулы и какое событие запомнил больше всего.

В классе было тихо и очень тепло; лучи весеннего солнца согревали воздух, слепили глаза, дети щурились и ерзали на стульях, стараясь спрятать лица, кое-кто прикрывался ладонью свободной руки. Я вышел из класса и, подойдя к огромному окну в коридоре, открыл его. Хотелось увидеть серое, пасмурное небо, какое бывает перед внезапным и сильным летним ливнем… Глупо. Я давно знал, что погода не меняется в связи с чьей-то смертью: будь это самый положительно прекрасный человек, природе до этого нет никакого дела; в ее обязанности не входит забота о человеке и тем более – оплакивание его.

Природа беспристрастна – настолько, что нередко беспристрастность ее путают с жестокостью. К чему, бездумно перенося на нее человеческие качества, которыми не всякий и обладает, пытаться обвинять ее в черствости? Да и многие ли знают, как вести себя в подобной ситуации? Плакать? Смеяться? Делать вид, что ничего не произошло?.. А что, собственно, произошло?.. Вот был человек – и нет его. И точно так же когда-нибудь не будет меня, директора, шестиклассников, а будет только это небо: ясное, чистое и никак не реагирующее на смену поколений… Страшно? Да вроде не очень… Вот и небу не страшно. И не жалко ничуть… как рыбакам не жаль рыбы, которой вдоволь в реках, а охотникам – птиц, которых вдоволь в небе, или зверей, которых вдоволь в лесах. Ведь жаль бывает лишь тех, кому суждено исчезнуть навсегда. Уссурийских тигров жаль, потому что их немногим больше двадцати особей и любой неосторожный шаг решает их судьбу. А нас каждый день по всей Земле помирает больше, чем всех тигров, вместе взятых, – как тут не остаться равнодушным?.. И с тиграми, к слову сказать, все не так однозначно: вот морских коров, например, тоже осталось в какой-то момент двадцать… а теперь ни одной. Они просто жили, а теперь их нет. А мы есть и ведем себя не многим лучше, чем злое и равнодушное небо, на которое смотрим с завистью, зная, что, когда нас не станет, оно будет синеть на рассвете и краснеть на закате, как синело и краснело, когда нас не было… Но разве тот, кто остается жить, виноват в чем–то перед нами, когда мы умираем?..

Когда осторожный шум, доносившийся из класса, постепенно перерос в откровенный галдеж, я закрыл окно и вернулся в кабинет…

…Возвращаться домой не хотелось, и я до вечера просидел в школе, проверяя сочинения. За последние пару часов заметно похолодало, и воздух должен быть по-морозному свеж – наконец можно пройтись и проветриться после странного и тяжелого дня. Я собрал вещи и вышел из класса. Опустевший коридор вздрагивал от гулкого эха моих шагов.

Во дворе перед школой я снова увидел Рыжова: он сидел на толстом сухом стволе поваленного дерева, когда-то грозившего упасть прямо на детей, за что и по – лучило суровый приговор, приведенный в исполнение не до конца: опасное древо спилили, но так и не разрубили на дрова и не вынесли с пришкольной территории; со временем оно высохло и уже несколько месяцев служило зловещим предупреждением для всех растений, собиравшихся своевольно раскинуть крону в опасной близости к детскому образовательному учреждению… Для всех же прочих оно служило скамейкой.

Я подошел к директору и сел рядом. Какое–то время казалось, что он не замечает моего присутствия, мы оба молчали, он смотрел в землю, я – на темнеющее небо.

– Ну, как день прошел? – не поднимая головы спросил Рыжов.

– Не знаю, – сознался я. – Вроде как обычно, но ощущения те еще… Целый день сам не свой.

– Как замена? – Неплохо… Сочинение писали. – Где-то вдалеке залаяла собака. – Корни с чередованием повторить придется…

– М-м, – директор сидел неподвижно, то и дело ковыряя носком ботинка песок.

– Про что сочинение-то? – Про самое сильное впечатление на каникулах. – И как там? – У Звягиных корова померла… Витька пишет... Весь дом на ушах… Всю неделю бегали, думали, что делать – целая эпопея…

– Чем кончилось?

– Телку купили… Хотя это Витька пишет, что купили, а я чувствую, выменяли на что–то, уж больно там запутанная схема какая-то…

– Н-да, – директор взъерошил волосы на голове. – У Шевцова – мать, у Звягиных – корова… Н-да… Подобное замечание казалось неуместным, но я промолчал. Все указывало на то, что Петра Степановича охватила тяжелая дума. Я решил попытаться развеять его тоску.

– А вот Лида написала, как она с родителями на выборы ходила. Вроде в школу, а вроде и нет. Очень забавное сочинение получилось – был там один такой момент… я так не воспроизведу, сейчас найду… Я полез в портфель за сочинением. Рыжов поднял голову и повернулся ко мне.

– А ты сам-то, Егор Евгеньич, каких взглядов придерживаешься? Вопрос прозвучал с парадоксальной неожиданностью, и я замялся.

– Я?.. Да не знаю, – сказал я наконец. –… А вы?

– А я – социалист–утопист.

Все еще роясь в портфеле, я решил было, что это очередная шутка, и уже готов был весело рассмеяться, поддерживая собеседника, но, взглянув в его сторону, осекся: тот был совершенно серьезен. Вероятно, лицо мое выражало полнейшее недоумение, потому что Петр Степанович пустился в пространное объяснение своего неожиданного признания.

– Знаешь, я ведь, когда молодой был, как ты, я нарочно в городе не остался – что ты! – поехал сельскую школу поднимать – ни больше ни меньше. Мне ведь казалось: вот оно, время, – свобода, любые учебники, любые программы, индивидуальные планы… Навел тут шороху. Старики сидели тихо – вроде доживали свое – не совались никуда, а я совался… Везде совался, все хотел поменять, всех разогнать: кончилось ваше время, теперь-то все по-другому будет, по-новому. Никто мне, конечно, не мешал, но никто особо и не содействовал. Ездил в город, агитировал, зазывал – поднимать, изменять, возводить… Кое-кто поехал. Так шло время. Нас заметили в районе. Старики ушли на покой. Я стал директором. Распределения давно уже не было – учителей, соответственно, тоже: зарплата упала, цены выросли, кое-кто уехал в город, кто-то просто уволился. Когда закрыли консервный завод, нормальной работы почти не осталось. Многие поуезжали, кто мог. Детей забрали с собой… А нет детей – так и школа не нужна. Мне так в районе и сказали. Сколько я крови тогда оставил… Ездил в город агитировать, звал поднимать, возводить, да никто не поехал. В Елисееве школу закрыли, объединили с нашей – слава богу, что не наоборот, – хоть как-то народ пошел. Да тоже – звонят, бывало, жалуются: мол, нашему Ивашке, чем за тридевять земель в школу гонять, проще дома учиться, все одно никакому уму-разуму вы его там не научите. Они мне выволочку, а я – в район. А там что? Только плечами пожимают: распоряжения нет, и хоть ты тут расшибись.

Я сидел рядом с ним, ошеломленный неожиданно пламенным и горьким монологом, и не знал, что ответить. За все недолгое время нашего знакомства я ни разу не поинтересовался жизнью директора, его судьбой, дальше пустого вопроса о здоровье или причинах пропущенного дня. Всегда он казался мне человеком мелким и неготовым к серьезному разговору, и, должно быть, так же к нему относились и остальные. Теперь же мне открывался совершенно другой Петр Степанович Рыжов, одинокий, с обрюзгшим лицом, в помятом сером пиджаке, небрежно брошенном на ствол дерева, но совершенно не тот, каким я видел его утром…

– Приехал, менял, разгонял, – продолжал он, – а сам – чего добился? Что смог поднять, восстановить по-настоящему?.. Знаешь, – он поглядел на меня, – что самое обидное?

Я отрицательно помотал головой.

– Ты вот не знаешь, а я знаю: ведь было же все это… Понимаешь? Было! То, за чем я ношусь тут по всему району дольше, чем ты на свете живешь, – было же оно все, я же видел его, жил в нем… а теперь? Ведь, казалось, так просто! Да только куда уж… Рыжов повернул голову и долгим пристальным взглядом посмотрел на здание школы. – Вот вырастут эти твои шестиклассники, – тихим голосом продолжал он, – станут здоровенными лбами, как мы с тобой… а мы, значит, сами-то станем стариками беззубыми, сам понимаешь… И придут они к нам, беззубым, и спросят: «Вы-то сами что сделали, когда могли? Что нам теперь опосля себя оставляете?» Я, знаешь, как подумаю об этом – так страшно мне, жутко просто… Он помолчал несколько мгновений, а затем произнес сокрушенно: – Ничего я не сделал… Я невольно вздрогнул, и не от поднявшегося ветра. – Ничего не сделал, – повторил он, – но разве же я не хотел сделать? Разве не пытался?.. Только кому… кому это интересно? Молодость беспощадна, она не принимает объяснений, и когда они придут, Ильин, я не смогу им ответить…

Мысль мою уже уносило далеко, по следам впечатлений прошедшего дня, и я, неожиданно для самого себя, сказал:

– А вы расскажите им про морских коров. Петр Степанович выпрямился и посмотрел на меня с недоумением. – Когда-то морских коров было много, – объяснил я, – и кто-то любил их. А потом их не стало. Совсем. И это случилось в то время, когда жили те, кто не хотел, чтоб они умирали, те, кто хотел и пытался помочь… Но теперь мы привыкли бросать свой вопрос без разбора, всему поколению: мол, почему не уберегли, за что истребили несчастных?

– Да-а, – протянул Рыжов и затих. Ветер принес столбы пыли с песчаной дороги. Я вдруг представил, как ко мне, старому и беззубому, придут нынешние шестиклассники… придет Витька, оплакивавший корову в своем неумелом, но бесконечно искреннем сочинении, и спросит: «Егор Евгеньевич, что же вы ничего не сделали, и Петр Степанович тоже не сделал ничего, и лежите вы теперь, беззубые и старые, и наставляете нас на прощание?», а я расскажу ему про морских коров, и он не послушает меня и через много лет, глядя на ясное и чистое небо, неожиданно для себя поймет, что я имел в виду…

Да, молодость беспощадна, как Природа, беспристрастна до жестокости и не собирается вслушиваться в тихие оправдания старости… Но разве тот, кто умирает, виноват в чем-то перед теми, кто остается жить?..

**ЗАДАНИЕ 2.**

**Прочитайте стихотворение И.Бунина «Вечер».**

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.  
А счастье всюду. Может быть, оно —  
Вот этот сад осенний за сараем  
И чистый воздух, льющийся в окно.

В бездонном небе легким белым краем  
Встает, сияет облако. Давно  
Слежу за ним… Мы мало видим, знаем,  
А счастье только знающим дано.

Окно открыто. Пискнула и села  
На подоконник птичка. И от книг  
Усталый взгляд я отвожу на миг.

День вечереет, небо опустело.  
Гул молотилки слышен на гумне…  
Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне.

**Каким образом в лирике передается чувство? Как «создано» в стихотворении чувство счастья? Знаете ли Вы еще стихотворения, которые посвящены этому чувству? Назовите их и напишите, чем вызвано чувство счастья, как мы понимаем, что это именно оно?**